



Наталья Лясковская

Родилась на Украине, в городе Умани. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, переводчик, публицист. Автор книг стихов и прозы для взрослых и детей. Член Союза писателей России. Член Совета Международного Союза православных женщин. Лауреат Международной литературной премии имени Фазилия Искандера в номинации «Поэзия» (2022). Живет в Москве.

ЛЕСКОВ

Глава пятая

Из училища — в судилище, или служба и дружба

*Продолжение. Начало в №№ 1-4 за 2021 год,
в № 1 за 2022 год*

Бросить учение — много ума не надо, а дальше-то как быть? Для тех, кто окончил гимназию, прямая дорога в университет. Но при сложившихся обстоятельствах... «Не в Панино же!» — восклицает в мемуарах об отце Андрей Николаевич. Что там делать новоявленному бунтарю: чудить на пару с отцом, слушать упреки матери? Да Николай бы и не поехал. Значит, нужно искать работу и устраивать быт в Орле, Ельце или в близких к родительскому Хутору Кромах.

Семён Дмитриевич как человек неглупый, вероятно, чувствовал и свою вину за резкий поступок сына. Ведь послали

они с Марьей Петровной мальчишку в город — как в воду кинули! Лесковы имели в Орле именитых и богатых родственников и свойственников — Кологривовы, Страховы, «столбовые» Тиньковы, Афросимовы, Мухортовы, князя Вадбольские и прочие, за столами которых и губернаторы, и особы царствующего дома почитали за честь сиживать. Но все эти «аристократы» за многие годы так «достали» бывшего семинариста, что он предпочел поселить сына не приживалой из милости у кого-нибудь из родовитых свояков, а на постое у совершенно незнакомой тетки. Пусть заботами этой тетки мальчик был обстиран и накормлен, зато лишен всякого контроля; никто ему не помогал делать уроки, не поощрял за успехи и не наказывал за проступки, проявляя родительскую опеку. «Много ли они были вместе, чтобы хорошо свыкнуться, сжиться? — спрашивает Андрей Николаевич. — Детство почти всё старший сын провел в Горохове. После двух лет в Панине — гимназия в Орле. Дальше — служба там же, вплоть до самой отцовской кончины. Всё порознь. Судьбою predeterminedенная, а позже и натурой избранная центробежность первородного». В первенце слишком угадывался наследный «лесковский характер». Отец не стал устраивать допрос с пристрастием, дознаваясь, по какой причине Николай бросил гимназию (как бы не вышло себе в моральный убыток!), а тряхнул старые связи и в течение двух-трех месяцев «тяжелого межеумья» (не совсем понятно, что конкретно хотел сказать этим выражением сын писателя, но догадки можно строить самые разнообразные), направил своенравного недоросля писцом в ведомство, где прежде и сам подвизался когда-то в качестве следователя.

Тут бах — и вышла наружу еще одна серьезная вина Семёна Дмитриевича: сначала будучи поглощен следовательской работой, а затем пребывая в глубокой панинской депрессии, он так и не удосужился оформить документы на потомственное дворянство, полученное им еще в 1825 году. А без этих документов Николая Лескова на службу не брали. Андрей Николаевич обрушивается на деда: «Это характеризует его равнодушие к некоторым вопросам и беззаботность о правах давно начавших появляться детей. В первую голову это сказалось на Николае Семёновиче, который по образованию прав на канцелярского служителя

первого разряда не имел, а документально подтвердить свое дворянство оказалось нечем. Сословное преимущество могло здесь сослужить хорошую службу, но... отец сплеховал! Не услышал ли он тут от первенца упрека, может быть, более горького, чем делал ему сам за нежелание учиться?» Скорее всего, услышал или сам дошел до осознания своего головоуятия. 10 февраля 1847 года под контролем сына отец подает наконец опоздавшее на двадцать два года прошение и 11 марта 1848 г. Орловское дворянское депутатское собрание определяет: Семёна Дмитриевича Лескова с детьми внести в третью часть дворянской родословной книги, а соответствующие акты «вручить согласно прошению г. Лескова сыну его Николаю Лескову». «Сладилось дело едва не в канун смерти нечестолюбивого просителя, — замечает Андрей Николаевич. — Что же касается до утверждения дворянства Департаментом геральдии Правительствующего сената, то такое последовало уже полгода после смерти Семёна Дмитриевича — 28 декабря 1849 года». С этого момента отчество Лескова в официальных бумагах пишется с сословным суффиксом «вич» (то есть «Семёнович», а не «сын Семёнов»), а жалованье удваивается с 36 рублей до 72 рублей серебром (ГАОО, ф. 4, ед. хр. 2782, л. 46 об. — 47). Гм, «нечестолюбивого»... по этому едкому слову становится ясно, как сердился на деда внук.

Из училища — в судилище, из огня да в полымя. Должность вольнонаемного слугителя-писца — мелкая и унижительная, «где-нибудь в углу, за шкафом, на табуретке, с гусиным пером за ухом и традиционной помадной банкой вместо чернильницы. Плохо, но все же выход из тупика, — сокрушается Андрей Николаевич. — Конечно, предстоит немало унижительного. Еще бы: между положением воспитанника губернской, по преимуществу дворянской гимназии и вольнонаемного писца какого-то приказа — бездна! (...) В гимназическом мундирчике можно равноправно чувствовать себя в любой гостиной, в любом “хорошем доме”. Не только можно, но даже должно появляться в указанные дни и у боярыни Плодомасовой-Зиновьевой, и у Страховых, и у Тиньковых, и у Кологривовых, словом, у всех, ревниво державших претенциозный тон родственников и свойственников, принадлежавших к “губернскому свету”. А как там показаться

во образе подканцеляриста? Да и гардеробчик небось похрамывает. Не закрылись ли двери их “салонов”? Не осторожнее ли в новом своем звании спуститься в значительно более скромные слои городского населения, в среду мелкого приказничества? Неизбежно так. Какая уж тут светскость и близость с богатеями и персонами! Приходилось кругом смириться».

К тому времени Николай Лесков уже в полной мере осознал свою неправоту в ситуации с гимназией, совесть грызла его. На протяжении многих лет потом он искал способы оправдаться: в «Заметке о самом себе», например, написал, мол, что недоучился потому, что «осиротел на шестнадцатом году и остался совершенно беспомощным», между тем как Семён Дмитриевич умер только в июле 1848 года, когда старшему сыну шел уже 18-й год. Снова и снова пытался затушевать неприглядность своего поступка в ранних автобиографических справках: отец рано умер, семейное состояние погребло в пожаре и пришлось, дескать, самоотверженному юноше бросить учебу и пойти зарабатывать на кусок хлеба — пусть на жалкий оклад канцелярского служащего, но поддерживать близких. Лескову так хотелось, чтобы окружающие видели его поступок в ореоле самоотверженности, что со временем он и сам почти поверил в свои «поправки к правде». «Отсутствие солидного образовательного диплома болезненно уязвляло Лескова всю жизнь, — признавал его сын. — И чем сильнее кровоточила эта рана, тем горячее хотелось убедить не только других, но и самого себя в том, что это результат не личного своеволия, а драматически сложившихся обстоятельств».

Однако с фактами не поспоришь — не только сиротство писателя, но и даты обоих легендарных орловских пожаров не совпадают с гимназическими годами Лескова: первый отшумел в июле 1841 года, до «открытия дверей в училище», второй сокрушил город в мае 1848-го — к тому времени Николай уже два года как оставил гимназию. И во время первого пожара, и во время второго семейство Лесковых жило в Панине, орловское их имущество было давным-давно продано. Но Мария Петровна хозяйствовала в Панином Хуторе не без деловой хватки, кое-какой доходец все же имелся, так что смерть Семёна Дмитриевича

мало повлияла на материальное положение семьи. Двоих младших братьев Лескова достаточные и влиятельные родственники устроили в гимназию, позже один из них успешно окончил университет; третий братец молодцом отучился в Орловском кадетском корпусе.

Не в пожарах, бедности или сиротстве заключалась причина его ухода из училища. В чем же? Борис Бухштаб, проводя аналогию с Н. А. Некрасовым, предполагает: «В обоих случаях, очевидно, действовали с одной стороны, безнадзорность, с другой — отвращение к зубрежке, к рутине и мертвечине тогдашних казенных учебных заведений при жадном интересе к жизни и ярком темпераменте». Лескову хотелось дышать всюю грудью — там, где «окрестный простор внушал ему пьянящее и окрыляющее чувство безмерности отпущенных ему сил»; колесить по России «от Чёрного моря до Белого и от Брод до Красного Яру», а не страдать от одиночества и заброшенности, нюхая пыль гимназических комнат. Юношеский максимализм, присущая всякому русскому человеку эсхатологическая устремленность «очарованного странника», призывали его броситься в самую гущу кипящего бытия. Не зря Лесков, собственными потом и кровью заплативший за «учение в черном теле», на манер Ивана Флягина переходя «от одной стражбы к другой» с «потягновением на подвиг», оказался так близок Горькому, изрекшему устами одного из героев «Жизни Клима Самгина»: «Он, Лесков, пронзил всю Русь»...

Мечты свои о просторах и полной жизни он все-таки привел в исполнение — через несколько лет. Пока же Николай твердо решил исправиться — он очень старался «кругом смириться». Поэтому в писцах пробыл недолго: через полгода, едва ему стукнуло полных шестнадцать лет, он подает установленное прошение о зачислении его на государственную службу, сопроводив его любопытным документом:

ПОДПИСКА

1847 г. мая 3 дня я, нижеподписавшийся, согласно примечанию к 407-й статье 3-го тома устава о службе и определению от правительства, дал сию подписку Орловской палате уголовного

суда в том, что я не принадлежу ни к каким масонским ломам и другим тайным обществам, под какими бы то они названиями ни существовали, и что впредь к оным принадлежать не буду.

Из дворян Николай Семёнов сын Лескова руку приложил.
(«Орловские губернские ведомости», 1900 года, № 96, 16 марта.)

С трудом поборов соблазн отступить от повествования о любимом писателе и ринуться в интереснейшее исследование о масонстве Орла в частности и России в целом, все же продолжу о Николае Семёновиче Лескове, поскольку он «не был, не состоял».

Итак, недавний строптивец настолько «смирил» себя, что вступив в Орловскую палату суда и будучи причисленным Орловским губернским правлением ко 2-му разряду канцелярских служащих 30 июня 1847 года, уже через год поднялся до «первого разряда», а 27 сентября 1848 года, семнадцати с половиной лет отроду, стал помощником столоначальника Орловской уголовной палаты. Семён Дмитриевич не дожил до последнего повышения сына, но пребывал в уверенности, что скорому продвижению Николая по службе способствовало его прошение давнему товарищу Д. Н. Клушину:

«Милостивый государь Дмитрий Николаевич!

До сведения моего дошло, что вы по выбору благородного дворянства Орловской губернии возведены на место председателя уголовной палаты, место почетное, когда-то занимаемое вашим покойным родителем. Хвала признательному дворянству, честь вам. Вы достигли своей цели, с чем вас позвольте и поздравить.

Известие об этом невыразимо меня обрадовало, как по беспредельному моему уважению к вам, так равно и потому, что под начальством вашим будет находиться старший из сыновей моих, другой уже год посвятивший себя изучению уголовного права, по собственному его желанию. Юноша с характером сильным и способностями, по отзывам других, достаточными, которого по этому поводу и позвольте рекомендовать в ваше покровительство. Умоляю вас быть ему тем, чем когда-то были ваши родители мне или чем бывают вообще аристократы для нашей мелкой братии пигмеев. Не хотелось бы мне, чтоб

он когда-нибудь был секретарем, но чтоб покороче ознакомиться с ходом уголовных дел, производителем их быть ему желал бы, а далее хотелось бы сотворить из него то, чего будет сам заслуживать. Всех у меня 4 сына, второй из них обучается в Орловской гимназии, мальчик, как кажется, с превосходным талантом, третий, ваш крестник, также заучился грамоте порядочно, а последний, по 4 году, побрыкивает еще по воле. Мне хотелось бы кого-нибудь из них пустить по военной службе, но я уже обессилел, а протеже никого более не имею. Еще раз позвольте повторить нашу покорнейшую просьбу о внимании вашем к нашему сыну первенцу. Не о снисхождении к его слабостям, а о справедливости к нему вас прошу.

Милостивой государыне Софье Ивановне пренизко кланяюсь. Как мать, знакомую с чувством чадолюбия более, чем всякий мужчина, я покорнейше прошу и ее об участии к моему сыну. Когда-то незабвенная Александра Ивановна умела открыть в благорасположение Николая Ивановича всякого, за кого его просили или кого она удостоивала своего предпочтения.

Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал.

С истинным высокопочитанием всегда честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою
Семён Лесков.

17-го марта 1848. С. Панино, Кром. уезда»*.

¹ В письме С. Д. Лескова говорится лишь о сыновьях. Всего же детей к тому времени в семье было семеро. Следом за первенцем Николаем родились: Наталья (07.06.1836–28.03.1920), Алексей (09.06.1837–08.12.1909), Михаил (01.11.1841–16.08.1889), Василий (01.08.1847–?.09.1872), Ольга (14.07.1846–13.11.1893), Мария (1847 или 1848-1859 или 1861) (ИРЛИ, ф. 612, N 383, л. 2145).

Письмо читается с чувством неловкости и жалости к автору, уж слишком Семён Дмитриевич принижает себя: он и «пигмей», и «мелкая братия», и «покорнейший слуга», который «низко кланяется». Адресата же автор письма возводит в небожители, в «аристократы». А ведь Дмитрий Николаевич Клушин, надворный советник, председатель Орловской уголовной палаты, близкий родственник писателя Александра Ивановича Клушина (1763–1804 гг.), тоже уроженца Орловской губернии, был хорошим человеком, но родовитости средней. Красавица-жена его, Софья Сабурова, дочь инженер-капитана, пензенского помещика, известного своими агрономическими опытами и статьями по вопросам сельскохозяйственной экономики, в юности стала самой яркой любовью М.Ю. Лермонтова, который предпослал посвященному ей стихотворению прочувствованные строки: «Напоминание о том, что было в ефремовской деревне в 1827 году — где я во второй раз полюбил двенадцати лет — и поныне люблю». Признание звучало как призывание: «Но я тебя молю, мой неизменный Гений:/Дай раз еще любить! дай жаром вдохновений/Согреться миг один, последний, и тогда/Пускай остынет пыл сердечный навсегда». Зов поэта остался без ответа. В 1832 году Софья Сабурова вышла замуж за Клушина, уехала с ним в Орел и родила дочь Машу. Ни Дмитрий Николаевич, ни Софья Ивановна никогда не держали себя заносчивыми аристократами, это были хорошие сердечные люди; юродивое смирение Семёна Дмитриевича по отношению к ним — только показатель его тяжелого душевного состояния. Заканчивается письмо «на самоуничижительной ноте — “верноподданными” строками из державинской “Фелицы”. Ими же — через двадцать восемь лет — сын автора закончил рассказ “Пигмей” — пригодилось...» — в свойственной ему манере поддел обоих — и отца, и деда — Андрей Николаевич.

И вот — у старшего сына налаживается жизнь, а Семён Дмитриевич, как будто исполнив свой последний долг, «поддается» смерти. Он к ней готов. «Первенец служит, второй сын преуспевает в гимназии, крестник сановника заучился грамоте, четвертый побрыкивает, а их отец, в тоске от бездеятельности, глохнет и опускается выброшенным из поглощавшей его кипучей деятельности. Приложить себя не к чему. Всё в прошлом.

Беспросветная тоска! Не спасает ни Флакк, ни Ювенал, ни малодушные уступки общеизвестным слабостям человеческим... Жизни нет. Она должна скоро оборваться. Холера вносит во все последнюю поправку» (А. Н. Лесков). Николай Семёнович, понимавший драму последних лет отца лучше других в семье, пронизательно заметил: «Он расстался с жизнью скоро и неожиданно, но... как будто сам того желал».

Вот так, изрядно помучившись пред кончиной, Семён Дмитриевич убыл в мир иной в июле 1848 года. Его похоронили на Добрынском погосте в простом деревянном гробу, вытесанном руками мужиков. По лесковскому преданию, на похоронах не хватило досок, чтобы сколотить крест с «голубцом», а крестьяне считали, что для помещика непременно нужен «голубец». В романе «Незаметный след» дело поправил дьякон Флавиан, добавивший досок из своего запаса. А как все было в реальности? Да так ли уж это важно... Похоронили Семёна Дмитриевича в посконной мужицкой одежде, как он просил в романном варианте событий, или «в господском» — какая разница. В земле одинаково истлевают и то и другое. «Через полтора десятка лет Панино продали, все перебрались в Киев, ходить на могилу стало некому. Заглох к ней след, замерла и память», — горько констатировал Андрей Николаевич. Осталась заброшенная могила, каких на Руси великое множество. Вид их вызывает чувства, высказанные Иваном Алексеевичем Буниным:

В лесу, в горе, родник, живой и звонкий,
Над родником старинный голубец
С лубочной почерневшею иконкой,
А в роднике берёзовый корец.
Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тысячелетней рабской нищеты,
Но этот крест, но этот ковшик белый —
Смирненные, родимые черты!

«Смерть его упрощала отношения, устраняла средостение, сближала богатых и влиятельных с малоимущей, одного с ними духа, воспитания и влечений, многодетной вдовой. Все

почувствовали облегчение. Ушел мешавший. Оставшиеся охотнее и легче шли на помощь. В итоге — не потеря, а облегчение и удобство. Грустно, но так», — заключает рассказ о своем деде по отцовской линии внук-летописец.

Но, по словам одного из героев Лескова, старому гнить, а новому жить: двое младших отпрысков Лесковых, как уже было сказано, в гимназии — учатся хорошо и радуют поведением, дочь Наталия в 1851 году ушла в монастырь и постриглась под именем Геннадии. Мария Петровна летом хозяйничает в Панине, а зимой вместе с младшей дочерью Ольгой расчудесно проводит время в орловском доме Константиновых — балы, банкеты, обеды, маскарады, званые вечера вертелись пестрым хороводом. Окрестные помещики съезжались в Орел на зимние сезоны после окончания сельских работ в октябре и открывали серию развлечений. Подтягивались в отпуска офицеры, припожаловали правительственные комиссии и высокое начальство. Лучшие артисты, концертировавшие в Москве, непременно заезжали в Орел, чтобы «дать гастроль», здесь с огромным успехом выступали модные тогда Натти, Сарасате, Виардо, Венявский и другие. Вот тут уж Орел праздновал так праздновал! В магазины огромными партиями завозили дорогие товары, их раскупали в мгновение ока, портнихи дни и ночи проводили за шитьем шикарных туалетов, оживлялись ювелиры и ростовщики. Великолепная зала Дворянского собрания с белыми колоннами, с хорами, почти каждый день заполнялась роскошно одетыми дамами и господами: обеды сменялись ужинами, затем начиналась игра в карты, молодежь танцевала — и так до утра. В вихре праздников Мария Петровна Лескова тянулась за богатыми родственниками, жаждая возместить упущенное в молодости. Тянуться было тяжеленько, а так хотелось наверстать «панинское безвременье»! С устранением супруга, хоть и опустившегося, но имевшего строгие понятия о чести и гордости, Мария Петровна с легким сердцем брала деньги у сестры и ее «благородного мужа» Константинова. Хотя, должно быть, порой средняя чрезмерно досаждала старшей: получать письма из Панина Хутора и читать их Страхова-Константинова не любила, вскрывать не торопилась. Порой так и валялись нераспечатанными на каминной полке по нескольку дней...

«Неудобного», немало всем досадившего Семёна Дмитриевича быстро забыли. «Поражало меня, как бедны были вообще воспоминания о деде, как малоохотно отвечали мне почти все мои родные на казавшиеся им докучными расспросы мои, например, о его смерти», — удивлялся Андрей Николаевич. Но с его утверждением, что Семён Дмитриевич оставил на земле «незаметный след», можно поспорить: ведь он дал жизнь писателю, фигура которого в русской культуре является знаковой, без него она немыслима. Однако после смерти Семёна Дмитриевича даже старший сын как будто отстраняется от памяти о нем. Николай посмеивается над светскими порханиями матери и сестры Ольги, а сам во все дни, кроме воскресенья, ныряет в пыльный омут криминалистической казуистики, перетирая рутину провинциально-приказного быта той глухой поры. Андрей Николаевич дает убийственное описание «младочиновных лет» новоиспеченного заместителя столоначальника, которые «текут по “высочайше утвержденному”, так сказать, для приказных тех времен образцу: “забрасываются первые щенята” — читай: оставляется в ближайшем трактирчике первое жалование “во оставление сухомордия и в мочемордство вечное”» — так уж тогда было принято. На закате дней в письме к В. Л. Иванову писатель с грустью вспоминает орловских товарищей своей молодости: «Помню не только последнюю нашу встречу в Орле, но помню гораздо более раннюю пору — жизнь нашу близ Василия Великого у Хлебникова; чернокудрого “Евгена” с его “штанинами”, корявого Лаврова, глистовидного Георгиевского в коричневом “франтове” с Ильинки, Жданова с шишкой на скуле и вас, отменно чисто выбритого, в “пальто-греке” летом и “хорьках” зимою. Помню Журавлева и Марковича и... вот всех их уже нет в том явлении, в котором мы их знали, а остались вы да я... Немного. Мы с вами, я думаю, ровесники, или вы немножко меня постарше. (Я родился 4 февраля 1831 года.) Оба, значит, старики и прожили жизнь совсем на различный манер, но друг друга помним и, надеюсь, рады бы встретиться».² И потом еще к нему же: «Эти где? Живы ли

² Письмо к В. Л. Иванову от 28 июня 1891 г. «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 805–806.

и во что произошли? Все это ведь “могикане” приказничества!.. Теперь ведь и “род сей изъялся”, и чем он заменился? Кажется, все-таки стало лучше того, что было во время оно».

Кстати, когда отец умирал, Николая Семёновича в Панине не было. Он не смог оставить службу, оправдываясь — взялся за гуж, мол, не говори, что не дюж. Второго срыва в своей судьбе Лесков допустить не мог. Порядки в судебной палате царили строгие: нарушишь — не обессудь, вылетишь с должности, ищи-свищи другую, а ведь и к этой-то еле удалось прилепиться! Семён Дмитриевич много чего успел поведать сыну о нравах и расправах орловского судилища, так что юный приказной даже не стал просить начальство о предоставлении отпуска, дабы навестить лежащего на смертном одре родителя. Подробности болезни Семёна Дмитриевича и его кончины рассказали Лескову мать, братья и слуги.

Хоть нравы уголовной палаты были круты, а подчас и дики, служба там стоила учебы на юридическом факультете — это был очередной лесковский «университет» или, скорее, обучающий практикум с «глубоким внедрением». С одной стороны, Лесков увидел, как русский человек, если он не сутяга по духу (а в нашем менталитете это редкость), вязнет в юридической паутине, как муха, — наши «простые и препростые» единоплеменники не любители судиться, а кто решался, оставался, как правило, без последних штанов. В «Грабеже» писатель дает понять ясно: защита простому человеку не только от воров нужна, но и от полиции.

Однако отец не только посвятил Николая в мрачные тайны судебной палаты, но и привил и развил в нем азарт следователя — и яркими описаниями, и личным примером. «Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Горохова к Машеньке (моей матери), Семёна Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировке его в Елец на следствие о страшном убийстве», — такими словами почти сразу начинается дневник бабушки маленького героя во второй главе «Несмертельного Голована». Сказать, что простой народ в то время пребывал во мраке невежества и предрассудков — ничего не сказать. И в этом мраке происходили самые страшные происшествия. «Мой отец к крутым, понудительным

мерам не обращался, то есть “людей не стегал”, как говорили мужики, но он настоял на том, что крестьяне должны были вспахать свои участки земли в яровых клипах и засеяли их выданными им заимообразными семенами, с обязательством возвратить семена из урожая. Но возвращать было не из чего: просфоряное тесто ушло недаром — никакого урожая не было. Все посеянное — пропало». И чтобы обеспечить хороший урожай, пришлый «незнамый человек» свечу из человеческого сала³ ритуально жжет, а затем и его самого убивают («Юдоль»), и т. п.

Лескову-следователю ежедневно приходилось вникать в такие истории, что волосы дыбом вставали, «по которым родная губерния представлялась “самой воровской и разбойничьей”, населенной детоубийцами, извращенцами, садистами, разбойниками-Кудеярами и прочими “проломленными головами”», — пишет Андрей Николаевич Лесков. На экспозиции музея Н. С. Лескова в Орле можно ознакомиться с некоторыми уголовными

³ Отмечу, что свечи из человеческого сала использовались в качестве «волшебных предметов» с древних времен разными народами. Например, Иоанн Грозный писал Стефану Баторию: «...город Сокол новым умышленьем зжег и людей побил и мертвым поругалися беззаконным обычаем, чево ни в безверных не слыхано: убьют ково на бою да покинут, ино то ратной обычей; а твои люди собацким обычаем делали, выбирая воевод и детей боярских лутчих мертвых, да у них брюха възрезывали, да сало и жолчь выимали как бы волховным обычаем. Пишешь и зовешся государем хрестьянским, а дела при гобе делаютца не прилишны хрестьянскому обычею: хрестьянам не подобает кровем радоватися и убийством и подобно варваром деяти».

Баторий в ответе не отрицал использования человеческого сала и желчи: «...то бывает во всем христианстве, те тела мертвые в малые куски розрезывают, присматриваючися члонков всых и внутрности, абы у хоробах (т.е. болезнях) и ранах живым, помагали». А участник Ливонской войны Гейденштейн писал: «... многие из убитых отличались тучностью; немецкие маркитантки, взрезывая такие тела, вынимали жир для известных лекарств от ран, и между прочим это было сделано также у Шеина». Подобные упоминания есть и у французского историка де Ту (издание 1614).

делами времен его службы в Орловской палате, которые затем стали основой для сюжетов «Леди Макбет Мценского уезда», «Погасшего дела», «Загадочного происшествия» и других произведений. Мрачные впечатления этого периода еще долго будут отзываться в его творчестве, взять хотя бы известное «баснословие о разделе земли между Христом и дьяволом» из романа «На ножах»: «Он хитер, ух, как хитер, — говорил речистый рассказчик, имевший самое высокое мнение о черте. — Он возвел Господа на крышу и говорит: “Видишь всю землю, я ее всю тебе и отдам, опричь оставлю себе одну Орловскую да Курскую губернии”. Господь спрашивает: “А зачем ты мне Курской да Орловской губернии жалеешь?” А черт ему: “Это моего тятеньки любимые мужички и моей маменьки приданая вотчина, я их отдать никому не смею”...» Лесков с азартом занимается следственной работой, почти профессиональную тягу к криминалистике он частично унаследовал от отца — «превосходного следователя», частично благоприобрел, она стала частью его натуры. Тут опять мне звенит звоночек, вещающий о сходстве моей натуры с ним: одним из нереализованных стремлений в моей судьбе числю профессию следователя...

Позже по каким-то причинам Николай Семёнович счел нужным оправдаться за свое знание уголовного мира. 5 марта 1888 года в письме к Д. А. Линёву, автору книги «Среди отверженных», Лесков писал: «Мир, который вы описываете <т.е. жизнь каторжников>, мне неизвестен, хотя я его слегка касался в рассказе «Леди Макбет Мценского уезда». Я писал, что называется, «из головы», не наблюдая этой среды в натуре, но покойный Достоевский находил, что я воспроизвел действительность довольно верно». Андрей Николаевич добавляет: «Иначе, надо думать, он (Достоевский — *Н. Л.*) и не поместил бы рассказа в “Эпохе”». Сам-то Николай Семёнович любил уверять: «Я всегда люблю основывать дело на живом событии, а не на вымысле». Зачем «вымышлять», если жизнь предоставляет такой богатый материал — только бери да пиши! Уже оставив судебную палату ради коммерции, в одной из деловых поездок в маленький городишко Пензенской губернии Городище Лесков с готовностью отодвигает текущие дела и спешит осмотреть местную тюрьму, общается

с сидящими и стоящими, с узниками и сторожами; а в 1862 году в Петербурге он еще внимательнее изучает знаменитый «Литовский замок», а затем подробно описывает свои впечатления на страницах «Северной пчелы» в очерках «Страстная суббота в тюрьме» (цикл из четырех частей в № 99, 101, 104) и «За воротами тюрьмы» (№ 10). Лескова интересуют не только и не столько условия проживания заключенных, их быт, ему гораздо интереснее узнать, что привело этих людей на путь падения, какие побуждения и настроения, какие обстоятельства этому сопутствовали и побуждали к совершению преступлений. «Я не могу брать фактиком, а беру кое-что психиею, анализом характера», — написал он Н. А. Лейкину 24 сентября 1883 года. «Фактики» — штука сухая, а вот «психия» доводила его до страшных вещей. В позднейшей беседе с В. В. Крестовским Лесков вспоминал: «А я вот, когда писал свою “Леди Макбет”, то под влиянием взвинченных нервов и одиночества чуть не доходил до бреда. Мне становилось временами невыносимо жутко, волос поднимался дыбом, я застывал при малейшем шорохе, который производил сам движением ноги или поворотом шеи. Это были тяжелые минуты, которых мне не забыть никогда. С тех пор избегаю описания таких ужасов» («Как работал Лесков над “Леди Макбет Мценского уезда”»). Сборник статей к постановке оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Ленинградским государственным академическим Малым театром. Ленинград. 1934 год). Лесков почему-то постоянно как бы отстраняется от Орловской судебной палаты, доказывая, что все придумывал «из головы». Будто и не было нескольких лет серьезной работы, «полного неправдой черной» опыта, ежедневного внедрения в самую гущу маргинально-криминального слоя населения губернии. Будто и не он всю жизнь с азартом отслеживал по газетам каждое громкое, как сейчас говорят, резонансное дело, вникая и в расследования, и в перипетии судебных процессов, быстро откликаясь на них в печати. Лесков написал ряд острых статей и заметок, вступив в полемику с «Новым временем», а отчасти и с «Новостями и биржевой газетой», по поводу найденной на льду задушенной двухлетней девочки Сарры Беккер, в убийстве которой подозревались сначала некий Миронович, а затем «психопатка Семёнова». Своим опусам Лесков

дает «оригинальнейшие заглавия, в некоторых прибегает к мистико-библейскому устрашению убийцы, — пишет А. Н. Лесков в главе «Орловская уголовная палата». — Не упустил он осудить и кое-какие приемы следствия. Почти негодуяюще и властно делались им указания в статье с зловецим заглавием “Женская тень, преследовавшая Семёнову”. Там были такие строки: “Встарь подозреваемых в убийстве лиц так не охраняли, и встарь их нарочно приводили в сближение с трупом жертвы и наблюдали за ними при этом, а равно наблюдали и за их чувствами и ощущениями, вызываемыми воспоминаниями... Мы не поклонники старого судопроизводства. Мы хорошо помним все его недостатки и злоупотребления, далеко оставляющие за собою промахи и несовершенства нынешнего суда — во всяком случае, гораздо лучшего. Но что смущает общество, то смущает и нас: мы не понимаем целесообразности в тех смешных деликатностях с лицами, на вине которых лежит подозрение в преступлении и душу которых потому надо обнажить до дна, а не разводить с ними финти-фанты, осведомляясь: не угодно ли им не смотреть туда, куда они обязаны посмотреть”. Дальше он описывает, как за подозреваемой Семёновой во время содержания ее на экспертизе в сумасшедшем доме неотступно следует женская тень, и наконец — эффектное туше: “...тень знает того, за кем ходит!”». Тут вам и хоррор, и мистика, и криминальная драма... Безусловно, в наше время из Николая Семёновича Лескова вышел бы отличный журналист с крепкой профессиональной хваткой — из тех, кто ведет криминальные расследования. Он умело использовал свой личный опыт работы в уголовном суде, проводил параллели с другими уголовными делами, привлекал литературные примеры и, наконец, «припечатывал» в нужном месте цитатами из Библии и Евангелия. Следователь просит его дать заключение о найденном на теле ребенка образке — Лесков охотно едет и приводит «весьма полезные указания для обнаружения виновных» («Об образке загубленного ребенка». «Петербургская газета». 1885 г. № 57; «Образок-обличитель» — там же, № 255). «Автор будущего “Запечатленного ангела” получил тогда в Орле целый пласт и специфических знаний, и знаний психологии русского человека», — пишет Е. Н. Ашихмина в своей статье «Лесков

в Орловской палате уголовного суда: новые автографы писателя». Кроме того, он изучил многие, доступные ему на то время юридические пособия, в частности «Сборник русских уголовных процессов», и дал на него рецензию в печать.

В Уголовной палате будущий писатель ежедневно и ежечасно лично составлял документы, которые отражали состояние общей картины преступности в губернии — а это, доложу я вам, весьма и весьма специфический жанр: отсылаю особо любознательных читателей к статье А. С. Минакова «Всепокорнейшие отчеты о состоянии Орловской губернии (1804–1914 гг.): проблемы выявления и использования». Как это отразилось на его литературном творчестве — выясним несколько позже.

Продолжение следует.